

Д. А. Редин

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАСТИ (субъективный взгляд историка)

«Отношения властного доминирования пронизывают все сферы человеческой деятельности»,¹ — это емкое и, по сути, аксиоматичное суждение вполне объясняет тот повышенный и неослабевающий интерес к феномену власти, который характерен как для гуманитарного знания, так и для обыденного сознания. Будучи фундаментальной проблемой социогуманитарных наук, важным предметом творческого осмысления в искусстве и объектом досужего интереса, власть описывается, объясняется и интерпретируется самыми разнообразными способами, в широком спектре вариаций — от отвлеченных философских толкований, политологических дефиниций и формально-юридических трактовок до литературных гротесков в кафкианском духе и сплетен в «желтых»/«глянцевых» (кому как ближе) изданиях, поскольку скандалы и подробности жизни власть имущих неизменно находят миллионную аудиторию.

Задавшись целью, можно за относительно короткий срок собрать огромное количество научных определений власти, каждое из которых будет претендовать на несомненную полноту, но, по большому счету, лишь отражает особенности языка описаний и специфику дискурсов. «Неуловимость бытия» власти связана, конечно, не только и не столько с ограниченностью методов познания или несовершенством вербальных конструкций, сколько со сложностью объекта, его многомерностью и изменчивостью. В этом — фатальная сложность постижения любого проявления социальной материи: в задачах, которые она преподносит исследователю, слишком много переменных, которые «непрерывно конституируют социальный мир через практическую организацию повседневной жизни».²

Стремление человеческой мысли к универсальности неизбежно порождает соблазн конструирования универсальных социальных законов. С предельной категоричностью это стремление было выражено в известных намерениях Огюста Конта создать «социальную физику». Объяснение механизмов власти мыслилось в том же ряду и побуждало к изучению (или сотворению?) ее структур: логичных, строго детерминированных, поддающихся объяснению и «живущих» в соответствии с заданной целесообразностью. Структурализм юридической науки, а позже — политической экономии и социологии — дисциплин, сфокусированных на политико-правовом регулировании, политике, политических отношениях как составной части социальных отношений и т. п., — вызвал к жизни масштабные теоретические системы, влияние которых выходило порой далеко за пределы академического пространства.

С наступлением XX в. модели познания стали меняться, что выразилось (помимо прочего) в кризисе позитивистского структурализма. Образно говоря, в эпистемологических основах революции социогуманитарных наук (в том числе — исторической) лежали актуализированные и переосмысленные представления о человеке, восходящие, по существу, к античным максимам: «человек — мера всех вещей» (Протагор) и «человек — животное общественное (политическое)» (Аристотель). Известно, что первопроходцами в области создания новой исторической науки были основатели «Анналов» М. Блок и Л. Февр, создатели исторической антропологии, знаменовавшей «возврат к человеку» в гуманитарных исследованиях. История государства, история власти занимали в их творчестве одно из ведущих мест. Наверное, не случайно то, что «антропологический поворот» в исторических исследованиях (как позже назовут этот процесс) начался именно во Франции — стране «классической бюрократии», обладавшей мощной историографией собственной государственности, давшей классические образцы работ по истории монархии для всей традиционной западноевро-

¹ Бочаров В. В. От составителя // Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии: в 2 т. / Сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. Т. 1: Власть в антропологическом дискурсе. СПб., 2006. С. 5.

² Бурдьё П. Социология политики. М., 1993. С. 16.

пейской медиевистики (Ф. Гизо, О. Тьерри, Ж. Мишле) и первой пережившей кризис этого направления историописания, вполне очевидно обнаружившийся к рубежу 1920–1930-х гг.³

Впрочем, крупномасштабное обращение к «человеческому» измерению власти, как и антропологизация исторических исследований вообще, произошло позднее, в послевоенный период, особенно в 1960–1970-х гг., когда к французским историкам, представителям новых поколений «Анналов», присоединились «собратья по цеху» из других европейских стран и США. Их трудами было сформировано целое проблемное поле антропологически ориентированных направлений исторической науки.⁴ При всех различиях национальных школ, форматов исследований, методов и областей применения их роднит ценностный подход, изучение социокультурной реальности ушедших эпох через постижение индивидуальных и коллективных поведенческих практик и стереотипов мышления людей прошлого. Продуктивность такого подхода на сегодняшний день доказана целым рядом трудов, посвященных изучению социального (в широком смысле слова) процесса исторического развития европейских стран эпохи средневековья, нового и новейшего времени, а его смысл прекрасно передает одно из высказываний классика английской «новой социальной истории» Ч. Фитьян-Адамса: «Не поняв этого (системы отношений людей прошлого друг к другу в их повседневных практиках — *Д. Р.*), вообще нельзя понять инаковость прошлого, не говоря уже о тех более формальных структурах разного рода, которые возвышаются над индивидом в каждом обществе: то, что мы теперь называем социальной структурой, в конце концов складывается или должно складываться из бесчисленных регулярностей, наблюдаемых в практике повседневных социальных отношений».⁵

³ См.: Цатурова С. К. Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV вв.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 2010. С. 3–6.

⁴ Подробно об этом см.: Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории // Социальная история. Ежегодник. 1997. М., 1998. Ч. 1. С. 11–52; Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999. Ч. 2. С. 7–38.

⁵ Phythian-Adams Ch. V. Rituals of Personal Confrontation in Late Medieval England // Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester. 1991. Vol. 73, № 1. P. 66, 67. Цит. по: Репина Л. П. Указ. соч. Ч. 2. С. 28.

В контексте нашей статьи вышеизложенное призвано зафиксировать один важный, как представляется, момент. Происшедший «антропологический поворот», приведший к созданию антропологически ориентированных описаний, не означает, тем не менее, подмену истории антропологией или наоборот. Во-первых, потому, что при всем значении антропологии обновление исторической науки в XX в. произошло не без влияния других дисциплин, в первую очередь социологии (достаточно отметить, что тот же Марк Блок опирался в своих построениях на труды как антропологов, таких как М. Мосс, К. Леви-Стросс, так и социологов, в первую очередь Э. Дюркгейма и М. Вебера). Во-вторых, формирование «новой социальной истории», в русле которой развивались и обновленные исторические исследования власти, происходило в результате собственной эволюции историописания (вспомним, например, в этой связи характеристику «Периодов социальной истории капитализма» Анри Пиррена, данную Люсьеном Февром⁶). В-третьих, антропология как наука тоже не оставалась в этот период неизменной и трансформировалась не без влияния других социогуманитарных дисциплин, но в своем русле. В результате то, что в заглавии настоящей статьи было названо «человеческим» измерением власти, оказалось под перекрестным вниманием разных, хотя и родственных, наук, получив разные наименования: антропология власти, политическая антропология, историческая политическая антропология (термин, использовавшийся Ж. Ле Гоффом), «новая» политическая история, «новая» социальная история (в рамках которой изучаются и отношения властвования) и др. Несомненно, в этом проявилось «обозначившееся в новейшее время стремление гуманитарного знания к полидисциплинарности», понимание того, что «магистральным направлением развития исторической науки в XX в. стал поиск подходов и методов, позволяющих максимально полно и многоаспектно охватить социокультурное целое».⁷ В этом смысле было бы, наверное, неуместно пытаться выстраивать некую «номенклатуру наук» и проводить чет-

⁶ См.: Февр Л. Общий взгляд на социальную историю капитализма // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 187–202.

⁷ Румянцова М. Ф. Новая локальная история в системе университетского образования // Образ науки в университетском образовании. М., 2005. С. 51.

кие «отраслевые» границы (оставим эту заботу ВАКУ). Но в то же время, приветствуя и поощряя полидисциплинарность, не следует подменять ее методологической «неряшливостью», памятуя о том, что у каждой науки имеется своя традиция. Непонимание или игнорирование этого обстоятельства приводит порой к совершенно нелепым ситуациям, вроде описанной В. В. Бочаровым, когда авторы (весьма, кстати, уважаемые в своей профессиональной среде) коллективной монографии «Политическая антропология» определили смысл этой дисциплины как «политику, ориентированную на человека».⁸

Из сказанного можно сделать вывод, что при определенной родственности антропологии и истории следует, наверное, различать исследования по антропологии власти, осуществляемые антропологами, с одной стороны, и «антропологизирующими» историками — с другой. Есть вещи, которые их различают. Во-первых, это методы и язык (тезаурус, понятийный аппарат). Различие это в первую очередь бросается в глаза и может вести к «цеховому неузнаванию», хотя, вероятно, при ближайшем рассмотрении оно оказывается не столь разительным. Эту мысль можно пояснить одним весьма показательным примером. Известно, насколько важную, если не ключевую, роль играет в антропологии метод включенного наблюдения, применяемый и в политической антропологии, независимо от изучаемого предмета, будь то система властного доминирования у ненцев или банту или элементы традиционной политической культуры американских конгрессменов. Историк, пытающийся понять критерии статусной самоидентификации русских подьячих XVII в. или смысл символики власти в империи Оттонов, лишен возможности использовать подобный исследовательский прием. При всей приверженности к историко-антропологическому подходу, он остается историком: «общаясь» со своими героями, задавая им вопросы, он говорит не с ними, а с посредником — историческим источником. Это обстоятельство неизбежно вводит историка в круг собственных методов, в мир текстов (чаще всего — текстов в буквальном, а не метафорическом смысле), в область притяжения *своего эмпирического объекта*. Конечно, современное источни-

коведение, ориентированное на восприятие источников как целостных объектов, созданных в результате целенаправленной творческой активности человека, герменевтические практики прочтения текстов, направленные на максимальное «погружение» в социокультурную реальность изучаемой эпохи, при определенных условиях создает эффект «включенного» диалога, превращая в какой-то мере историка в антрополога. А с другой стороны, включенное наблюдение не гарантирует непосредственного общения антрополога с объектом исследования на равных: современный антрополог остается в любом случае человеком иных культурных и политических традиций, обремененным собственными представлениями и концепциями («они видят то, что хотят увидеть»⁹), что в какой-то мере создает антропологу, как и историку, некий «источниковедческий» барьер. Но как бы там ни было, «отраслевые» различия на уровне методов остаются достаточно очевидными, обуславливая, помимо прочего, различия в языках описаний.

Последнее со всей очевидностью демонстрируется характером статей, составляющих основное содержание настоящего номера. В подавляющем большинстве они написаны историками, чьи интересы в исследовании феномена власти реализуются в русле антропологически ориентированного направления. При желании все опубликованные статьи могут быть презентированы на языке антропологического описания.

Так, известная британская исследовательница позднесредневековой России М. Перри предлагает читателям анализ конфликтов русского и запорожского казачества с государственными структурами Московской Руси и Речи Посполитой в XVII в., демонстрирующих модели противостояния потестарных общностей официальным политическим структурам. Воронежский историк О. В. Скобелкин реконструирует процедуру социальной и статусной идентификации иноземцев, прибывавших в XVI в. из европейских стран на русскую военную службу. В статье коллеги из Франции А. Жуковской исследуется проблема способов материального обеспечения приказных людей Севска эпохи петровских реформ как индикатора их социального и властного статуса. Разнооб-

⁸ Бочаров В. В. Указ. соч. Т. 1. С. 4.

⁹ Бочаров В. В. Указ. соч. Т. 1. С. 35.

разные варианты сочетаний и столкновений традиционной политической культуры русских с политическими институтами модерна в Российском государстве и с традиционными политическими культурами нерусских народов XVI–XX вв. предстают в статьях новосибирских авторов А. С. Зуева (о мотивации и тактике действий дружины Ермака по отношению к сибирским инородцам) и Д. О. Серова (традиционный институт дьячества в структуре рационального государства Петра Великого и персональный состав последних дьяков); екатеринбургских историков Е. В. Переваловой («родовые канцелярии» самоедов в структуре государственного управления Сибирью в позднеимперский период), Е. В. Бородиной (служилые люди сибирских городов перед системой реформированных коронных судов первой четверти XVIII в.), К. Д. Бугрова (восприятие коррупции как основы разложения империи в российской политической культуре второй половины XVIII в.) и А. В. Сушкова (дар и пир — архаические социальные коммуникации как условие подпольной предпринимательской деятельности директора Красноярского ликеро-водочного завода в послевоенные годы). Механизмы и способы формирования поведенческих стандартов (важнейшего элемента политической культуры) исследуются в статье А. И. Алексева (Санкт-Петербург) о практике общественного дисциплинирования в русских монастырях XVI в. Институт брака как залог стабильности императорской власти в условиях затяжного политического кризиса в поздней Византии и механизм аккумуляции «положительного потенциала» в символике имени стали объектами изучения уральских византинистов Т. В. Куц и А. С. Мохова. В обстоятельствах политической биографии одного из творцов германского либерализма О. Рихтера, описанных Н. Н. Барановым, предстают коллизии противостояния либеральной политической культуры архаическому «тоталитарному коллективизму» социалистического революционаризма. Фактор личных мотиваций в принятии государственных решений, касающихся организации науки в СССР, раскрыт Е. Т. Артёмовым.

Представленные таким образом статьи вполне узнаваемы, но их прочтение обнаружит, что описания, предложенные выше, по большей части некорректны, поскольку упус-

кают важные нюансы живой исторической действительности, подменяют аутентичность языка источника «кабинетными» неологизмами, смещают ориентиры авторских целеполаганий. Яркие, профессиональные, безусловно необходимые для расширения нашего знания о различных аспектах человеческих взаимодействий во власти и перед лицом власти (государственной или иной), они не нуждаются в подгонке под понятийный аппарат и лексикон хотя и родственной, но все же иной дисциплины. Написанные в русле «новой» исторической науки, эти исследования остаются конкретно-историческими работами, в которых важен источниковедческий акцент и собственно исторические исследовательские задачи.

В то же время достаточно очевидно, что при всех дисциплинарных различиях политической антропологии, практикуемой антропологами и историками, существует нечто общее, что роднит тех и других. В первую очередь, это сам объект изучения: неполитические виды власти в различных социальных группах, неформальные отношения в официальных политических структурах, представления о власти в обществе и в отдельных его стратах, формы презентации/репрезентации власти, системы политических коммуникаций и многое другое, объединяемое принятым в политической антропологии понятием политической культуры и ее системных составляющих — традиционной и рациональной политических культур. Их роднит, по выражению М. М. Крома, акцентирование внимания «на буднях власти, управленческой рутине, на том, как реально вершились государственные дела где-нибудь в провинции, вдалеке от столицы».¹⁰ Роднит их и общее проблемное поле: исследование культуры, а не структуры, отношений, а не форм (насколько это, конечно, делимо), динамики, а не статики. Наконец, их роднит историко-антропологический подход, нацеливающий, по словам антрополога А. В. Головнёва, «на воссоздание ценностей и атмосферы исследуемой эпохи *in situ* — с присущими ей категориями и технологиями».¹¹ В конечном итоге все это приводит к тому, что «и тематика, и конкретные подходы, избираемые

¹⁰ Кром М. М. Политическая антропология: новые подходы к изучению феномена власти в истории России // Ист. зап. М., 2001. Вып. 4 (122). С. 377.

¹¹ Головнёв А. В. Крупный план в антропологии // Урал. ист. вестн. 2010. № 4 (29). С. 14.

современными исследователями феномена власти в истории... то общее, что объединяет сторонников политической антропологии (многие из которых не используют сам этот термин!), становится заметно при сравнении их работ с трудами предшественников, выполненными по канонам традиционной политической истории — событийной или институциональной».¹²

Думается, что от осознания общности целей и интересов при естественном сохранении собственных методов и языка движение к полидисциплинарности только выигрывает, освобождаясь при этом от псевдонаучных и околонуучных заклинаний — той самой «шифровки воздуха», за которой так удобно стало прятать в последнее время отсутствие мысли и источниковедческое бессилие.

Ключевые слова: *антропология власти, политическая антропология, «новая» историческая наука, антропологически ориентированное историческое исследование, феномен власти в историческом исследовании*

“HUMAN” DIMENSION OF POWER (SUBJECTIVE VIEW OF A HISTORIAN)

The author of the opening article of this issue dedicated to the historical studies of a complicated phenomenon of power relations in society offers some reflections on the similarity and differences in the study of power by the anthropologists and the “anthropologizing” historians. Wholly supporting the anthropological orientation of some historic research on this subject, and believing that the cooperation of the two related humanitarian disciplines may be productive for both, the author nonetheless warns about the need of methodological accuracy, emphasizing the inexpediency of substituting history for anthropology and vice versa.

Dmitry A. Redin

¹² Кром М. М. Указ. соч. С. 378.